

Викентий Вересаев

К ЖИЗНИ



Викентий Викентьевич Вересаев

К жизни

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=623245

Аннотация

«Алексея выпустили.

Мы с ним поселились на краю города. Сняли у вдовы мелочного лавочника Окороковой две передние комнаты ее ветхого домика. Алеша сильно осунулся, но от побоев совсем оправился. Он по-всегдашнему молчалив, не смотрит в глаза и застенчиво принимает мои заботы о нем...»

Содержание

Часть первая	4
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Викентий Вересаев

К жизни

Часть первая

Алексея выпустили.

Мы с ним поселились на краю города. Сняли у вдовы мелочного лавочника Окороковой две передние комнаты ее ветхого домика. Алеша сильно осунулся, но от побоев совсем оправился. Он по-всегдашнему молчалив, не смотрит в глаза и застенчиво принимает мои заботы о нем.

У меня много беготни и хлопот по району, редко приходится бывать дома. Алексей меня ни о чем не расспрашивает, со смешным, почтительным благоговением относится к тому таинственному, что я делаю; с суетливою предупредительностью встречает проходящих ко мне. Что-то есть в нем странно-детское, хоть он мне ровесник. Когда я иду куда-нибудь, где есть хоть маленький риск, он молча провожает меня любящими, беспокойными глазами. Очень мы разные люди, а ужасно я его люблю.

Выпустили также многих товарищей. Выпустили, говорят, и Иринарха. Попался в сети, как лягушка среди карасей, а просидел три месяца.

Всегда мне странно и смешно бывает, когда приходится зайти к Катре. Каждый раз в другом платье, необычном, каких никто не носит, как будто в маскараде, а между тем странно идет к ней. И прическа, и все. И думаешь: «Эге! Вот еще какая у тебя красота!» И думаешь: «Господи! Сколько на это трудов кладется! Вот тоже – труженица!»

У нее сидел за кофе Иринарх. Расцеловались с ним. Он рассеянно положил себе горку сухарей и продолжал говорить:

– Да, так вот... Ужасно было интересно в тюрьме. Я прямо жалел, когда выпустили. Эти мужички с недоумевающей мыслью в глазах. Рабочие, как натянутые струны. Огромнейшая книга жизни. Евграфову видел, – интересно. Бледная, с горящими глазами, настоящая христианская мученица, с огромною трагическою жизнью в душе. А заговорит, – боже мой! Любовь к людям, избавление их от страданий, социалистический строй... И чем бы она жить стала в этом будущем благолепии!.. Удивительно, как люди не умеют жить настоящим! Такое яркое, интересное время, никогда лучше не бывало. А они все о каком-то будущем. Хорошо у Ибсена сказано: «Ненавижу я это вялое слово – будущее!..»

Что-то в Иринархе было новое, какая-то найденная идея. Глаза светились твердым, уверенным ответом, а раньше они смотрели выжидающе, со смеющимся без веры вопросом.

Но я спешил.

– Катерина Аркадьевна, можно вас попросить на пару

слов?

Мы вошли с нею в гостиную. Наедине обоим было неловко, – встало то странное и жуткое, что недавно так тесно на минуту соединило нас. Как тогда, ее чуть слышно окутывал весенне-нежный, задумчивый запах тех же духов. И в воспоминании запах этот мешался с запахом керосина и пыли.

– Можете вы нам дать послезавтра квартиру?

В ее глазах мелькнули усталая скука и насмешка.

– Опять будете препираться о «текущем моменте»?.. Хорошо...

– Благодарю вас.

Товарищи расходились. Окурки торчали в земле цветочных горшков; в тонком аромате гостиной стоял запах скверного табаку. Оставались только я с Алексеем, Турман и Дядя-Белый.

Вдруг вошла Катра – любезная, радушная. Она поздоровалась и стала звать нас ужинать. Турман и Дядя-Белый с недоумением оглядывали ее, стали отказываться. Катра настаивала. Они усмехнулись, пожали плечами и пошли в столовую.

Там опять сидел Иринарх. Как всегда, он сейчас же овладел разговором. И у него был всегдашний странный его вид: на губах улыбка какого-то бессознательного юродства, в наклоненной вперед крутолобой голове что-то бычачье и как будто придурковатое, а умные глаза наблюдающе приглядыва-

ваются.

– В воздухе носится это решение – любовь к жизни. Ницше, Гюйо, Беклин, Григ, Гамсун, Толстой, Достоевский, – с разных концов, мыслью, художественным чутьем, – все приходят к тому же: к пониманию громадной ценности жизни как она есть. Особенно в этом отношении великолепен Ласкаль. Он впитал в себя все разрозненные элементы, носившиеся в воздухе, и вырос в истинного человека. Мы наивно ищем блага в будущем, ищем в религии веры в сохранение ценности жизни, – это верно определяет Геффдинг. А ценность-то жизни, а благо-то это – кругом. Нужно только протянуть руку и брать полными горстями.

Турман молча сидел, заложив руку за пояс блузы, непрерывно курил и своим темным взглядом смотрел на Иринарха. Дядя-Белый внимательно слушал.

Иринарх обратился к ним:

– Скажите, пожалуйста, вы вот боретесь. Много терпите в борьбе. Стремитесь к чему-то... За что вы боретесь? К чему стремитесь?

Дядя-Белый поднял брови и слегка усмехнулся.

– К чему? Вам бы это должно быть известно.

– Простите, я совершенно серьезно говорю: мне неизвестно.

– К тому, чтоб всем было хорошо.

– А зачем нужно, чтоб всем было хорошо?

Дядя-Белый с удивлением смотрел. Иринарх ждал со

скрытую улыбкою, как будто он знал что-то важное, чего никто не знает.

– Не понимаю вас.

– Что значит «хорошо»? Чтоб была свобода, чтоб люди были сыты, независимы, могли бы удовлетворять всем своим потребностям, чтоб были «счастливы»?

– Ну да!

– Гм! Счастливы!.. Шел я как-то, студентом, по Невскому. Морозный ветер, метель, – сухая такая, колющая. Иззябший мальчугашка красною ручонкою протягивает измятый конверт. «Барин, купите!» – «Что продаешь?» – «С... сча... астье!» Сам дрожит и плачет, лицо раздулось от холода. Гадание какое-то, печатный листок с предсказанием судьбы. – «Сколько твое счастье стоит?» – «П-пяточок!..»

Иринарх удивительно изобразил мальчика, – так и зазвенел плачущий, застуженный детский голосок.

Турман шевельнулся на стуле и враждебно оглядывал Иринарха.

– Он на этот пяточок сыт стал!

– Верно. А все-таки цена-то его счастью – «пя-та-чо-ок!» Сыт – разве же это счастье?.. А что даст будущее, если оно, боже избави, придет? Вот этот самый пяточок. Разве же за это возможна борьба? Да и как вообще можно жить для будущего, бороться за будущее? Ведь это нелепость! Жизнь тысяч поколений освящается тем, что каким-то там людям впереди будет «хорошо жить». Никогда никто серьезно не жил

для будущего, только обманывал себя. Все жили и живут исключительно для настоящего, для блага в этом настоящем.

Я сдержанно спросил:

– В чем же это благо?

– В чем!.. Оно так ясно, так очевидно, – его можно определить строго математически, как звук или свет. Чем определяется звук, свет? Числом и размахом колебаний в секунду. Целиком так же определяется и благо. Радость – великолепно! Странствие – великолепно! Радость – странствие! Радость – странствие! Быстрее, ярче, сильнее! Раз-раз-раз! А мы странствия боимся, проклинаем его. Утешаемся будущим, когда странствия не будет... Как верно Шопенгауэр сказал: «После того как человек все странствия и муки перенес в ад, для рая осталась одна скука».

Катра слушала и внимательно наблюдала товарищей. Раза два она искоса взглянула на меня, как будто вызывала: нука, возрадите!

Иринарх говорил словно пророк, только что осиянный высшею правдою, в неглядящем кругом восторге осияния. Да, это было в нем ново. Раньше он раздражал своим пытливо-недоверчивым копанием во всем решительно. Пришли великие дни радости и ужаса. Со смеющимися чему-то глазами он совался всюду, смотрел, все глотал душою. Попал случайно в тюрьму, просидел три месяца. И вот вышел оттуда со сложившимся учением о жизни и весь был полон бурлящею радостью.

Он продолжал:

– О-ох, это будущее! Слава богу, теперь сами все в душе чувствуют, что оно никогда не придет. А как раньше-то, в старинные времена: Liberte! Egalite! Fraternite!¹ Сытость всеобщая!.. Ждали: вот-вот сейчас все начнут целоваться обмякшими ртами, а по земле полетят жареные индюшки... Не-ет-с, не так-то это легко делается! По-прежнему пошла всеобщая буча. Сколько борьбы, радостей, страданий! Какая жизнь кругом прекрасная! Весело жить.

Турман опять двинулся на стуле. Он тяжело бросил на Иринарха свой темный взгляд и злобно усмехнулся.

– Весело... Очень весело! Спасибо вам, господин, за такую веселость! Не весело, а скверно жить! Тяжело жить!

– Тяжело? Боритесь! Поднимайтесь выше!

Турман в изумлении и негодовании смотрел на него.

– Индюшки полетят?.. Полетят индюшки?.. Пятачок будет?.. Говорите: боже избави?

– Боже избави! – твердо и решительно ответил Иринарх.

– Не надо этого?

– Не надо.

– Надо! – крикнул Турман. Он, задыхаясь, наклонился над столом и пристально смотрел в глаза Иринарху. – Вот что я вам заявляю: надо, чтоб это пришло через десять – пятнадцать лет. Слышите? – Турман грозно постучал ладонью по столу. – Через десять – пятнадцать лет, не дольше!

¹ Свобода! Равенство! Братство! (франц.).

Он встал и оглядывал всех, как будто вдруг проснулся и увидел кругом незнакомых людей.

– Вы, господа, – интеллигенция, вы понимаете социологию. Мы ее мало понимаем. Может быть, по научным там всяким законам мы людьми станем через сотню лет... Так врите нам, а говорите, что это близко. А то слишком скверно жить. Нам скверно жить, невозможно жить, а не «весело»!

Дядя-Белый все время с недоумением слушал Иринарха, – слушал, мучительно наморщив брови, стараясь понять. Он раздумчиво заговорил:

– Вы мало знаете нашу жизнь. Ничего в ней веселого нету. Все время от всех зависишь, – раб какой-то. Сегодня на работе, а завтра сокращение, завтра не потрафил мастеру, шепнули из полиции, – и ступай за ворота. А дома ребята есть просят... Унижают эти страдания, подлецом делают человека...

Иринарх просиял торжеством.

– Вот, вот это самое!.. Есть страдания, которые унижают, и из них рвется человек к другим страданиям, к тем страданиям, которые...

Турман не слушал. Он взволнованно метался по комнате, отыскивая свою фуражку. Отыскал, остановился боком и теми же проснувшимися глазами окинул богатую сервировку стола, изящную Катру, внимательно наблюдавшую его из кресла.

– Что будет! – прервал он Иринарха. – В морду всем мож-

но будет засветить. Всем, кто того стоит! Вот что будет!.. Сенька, пойдем! Пойдем, Сенька, не оставайся!

– Да, пора идти. – Дядя-Белый грустно поднялся.

Турман искоса бросил на меня выжидающий взгляд. Они ушли.

Иринарх ходил по комнате и в восторге потирал руки.

– Но ведь этот черный – это великолепнейший хищный зверь! Какая ненависть в глазах!.. Погодите, он еще всем вам покажет свои коготки! Ну и что, что такому делать при всеобщем благополучии? Ведь именно ненависть-то эта и наполняет его жизнь огромнейшим содержанием! Ужасно он много дал для моей мысли... И как характерно: люди стремятся – и совершенно не понимают: к чему? Теряются, не могут ответить. Огромное стремление, а впереди – только какой-то смутно-золотистый свет. Удивительно, как это у вас нет пророков. Ведь именно при таких-то условиях они и должны бы греметь.

Мы с Алешей уходили. Катра со скрытою насмешкою следила за мною. В передней она спросила:

– Отчего вы ничего не возражали Иринарху Ильичу?

Я насупился.

– Разве можно было ответить лучше, чем ответил Турман?

– А я думаю, вам просто нечего было возразить, – презрительно и устало сказала Катра.

Я пожал плечами.

Мы шли домой. На душе было весело. Не люблю я Катры –

и как она бесится, что на все ее вызовы я отвечаю вежливым молчанием!

Алексей все споры слушал с странно-пристальным, принимающим к сведению вниманием. Мы шагали по тропинке среди сугробов. Он сдержанно спросил:

– А какой же ты смысл видишь в настоящем? Оно имеет значение только в виду будущего?

– Да как это можно разделять? Будущее, настоящее... Все равно что стараться ножом отделить в организме жизнь от материи. Жизнь радостна, прекрасна, потому что освещена будущим и, конечно, дай бог, чтобы будущее как можно скорее пришло... Какой-то разврат душевный копаться в этом. Болтун! Почему же он ничего не делает?

Алексей замолчал и не возражал.

Как огромные струны, еще пели приводные ремни. Подрагивали стены, и быстрые отсветы мелькали по стальным рычагам. Но люди толпились в середине, и подходили все новые из других мастерских.

В замасленной блузе рабочего я говорил, стоя на табурте. Кругом бережным кольцом теснились свои. Начал я вяло и плоско, как заведенная шарманка. Но это море голов подо мною, горящие глаза на бледных лицах, тяжелые вздохи внимания в тишине. Колдовская волна подхватила меня, и творилось чудо. Был кругом как будто волшебный сад; я разбрасывал горсти сухих, мертвых семян, – и на глазах из них вы-

растали пышные цветы братской общности и молодой, творческой ненависти.

Когда приходишь домой, – из большого, яркого мира вдруг попадаешь во что-то маленькое, узенькое, смирное. Алеша сидит в своей накуренной комнате, сторбившись над столом. Моя комната большая, а его – очень маленькая. Он ее выбрал себе, – уверял, что любит тепло. Но сделал он это по своей обычной упорной деликатности.

Сидит он за маленькой лампочкой с бумажным колпаком и старательно пишет. Красиво пишет своим аккуратным почерком конспект прочитанной книжки. Если что нужно вычеркнуть, он вырывает из тетрадки всю страницу и переписывает. Конспектирует и ничтожнейшие брошюрки. Часто мне в голову приходит вопрос, – чем он живет? Застенчивый, молчаливый, нелюдимый. Никогда он не смотрит в глаза – даже мне, двоюродному своему брату, а мы с детства росли вместе. Ничем особенно не интересуется. Читает мало, принуждая себя, то, что я уж очень расхвалю. В комнате у него так все аккуратно разложено, так чисто. Это всегда признак бедной духовной жизни.

Пьем с ним чай. Своим всегда неестественным голосом он говорит, не глядя в глаза:

– Ходил сейчас ко всенощной к Спасу, слушал шестопаловских певчих. Вот здорово поют! Особенно «Свете тихий». Чудная у них новая октава. Шестопалов недавно при-

вез из Мценска... После всенощной зашел к Маше. Нет, она действительно ненормальна, это несомненно.

– Опять тетя Юля ваша мутит?

– Заявила, что Маша ей мешает спать по утрам, когда встает. И Маша из большой комнаты перебралась в переднюю. Там спит. Говорит, великолепно. А от двери дует черт знает как!.. Положительно, сама себя она валит в могилу.

Алеша украдкой глядит на меня и осторожно спрашивает:

– Ты не зайдешь к ней?

Ох, эти родственные обязательства. Я морщусь.

– Да некогда, дела много.

Алеша темнеет. В нем вообще очень силен семейный патриотизм, а сестру Машу он любит с восторженным умилением. Перемогая себя, сам тяготясь своею настойчивостью, он говорит коротко:

– Шестого ее рождение.

– Ну, зайду тогда.

Алеша благодарно глядит.

В освещенных, завешанных тряпками оконцах флигелька металась тень. Мы с Алешей стояли на крыльце двора.

– Ты верно видел, пьян он?

– Пьян.

– Ну, значит, бьет.

Когда Гольтяков пьян, его охватывает буйная одержи-

мость, он зверски колотит Прасковью. Она – худенькая, стройная, как девочка, с дикими, огромными глазами. У меня и у Алеши жалостливая влюбленность в нее. Мучают и волнуют душу ее прекрасные, прячущие страдание глаза. Горда она безмерно. Все на дворе знают, что с нею делает муж, а она смотрит с суровым недоумением и резко обрывает сочувственные вопросы.

Мы растерянно стояли. Трепала дрожь. В флигельке звучали заглушенные стоны, отчаянно плакал ребенок... И нельзя ничего вделать, нельзя броситься на помощь!

Да, учит жизнь! Сколько раз за этот год, в самых разнообразных случаях, приходилось переживать вот это самое, – стой, стиснув зубы, когда тянет броситься вперед, – гнусно кипи и перекипай внутри себя.

Вздымаются волны все выше. Весело жить! Работы страшно много, беготня с утра до вечера. К циглеровцам присоединяются все новые и новые заводы.

Вчера примкнули староносцы, где Дядя-Белый. Через три дня предстояла получка. Дядя-Белый предложил присоединиться после получки. Поднялись крики, упреки!

– Трус! Предатель... Сейчас же все бросай работу!

И с песнями ушли из мастерских. А присоединились только из сочувствия.

Забежал к Катре, попросил вызвать ее. Горничная сказа-

ла, что выйти она не может, а просит к себе.

В «будуаре», – кажется, так это называется, – сидели толстый адвокат Баянов и приезжий из столицы юноша. Катра с радостной улыбкой встала навстречу. Какая-то особенная у нее улыбка, – медленная и яркая: всю ее эта улыбка освещает изнутри.

Я сказал, что спешу. Она как будто не слышала, усадила меня. Почему она не могла ко мне выйти?

Юноша неестественно-поющим голосом читал стихи. Гибкие, певучие звуки баюкали внимание, трудно было понять, о чем речь.

Я пересидел стихи, подошел к Катре. Смеясь глазами, она взяла меня за локоть и сказала:

– Пожалуйста, посидите четверть часа, – мне нужно с вами поговорить.

Юноша еще читал стихи. Шла речь о каких-то неслыханных «дерзаниях», о голых женских телах, о громовых беседах с «братом-солнцем»:

Брат мой солнце! Ясный, ярый,
Пьяный жаром старший брат!

Тонкая шея туго была стянута высоким крахмальным воротничком. Неврастеническое лицо, длинные влажные пальцы. На что, кроме пакости, способен «дерзнуть» этот заморыш! Девочку растлить, обольстить и бросить с ребенком

горничную, – другого никак я не мог себе представить.

– Извините, я не понимаю. Что такие за дерзания?

Вышел спор. Я говорил о громадности и красоте дерзаний, которыми полна действительная жизнь. Он неохотно возражал, что да, конечно, но гораздо важнее дерзание и самоосвобождение духа. Говорил о провалах и безднах души, о божестве и сладости борьбы с ним. А Катра заметно увиливала от разговора наедине. Ее глаза почти нахально смеялись надо мною. Мне стало досадно, – чего я жду? Встал и пошел вон.

Катра вышла следом. Я молча надевал пальто.

– Погодите, ведь вам что-то было нужно?

Я презрительно ответил:

– Вам, я вижу, это неудобно. Тогда не надо... До свидания.

Катра вспыхнула.

– Вы воображаете, я боюсь... Что вам нужно?

Я сказал.

– Хорошо, я согласна.

– Так я пришлю Алешу.

Катра с враждебной и вызывающей насмешкой взглянула на меня.

– Знаете, Константин Сергеевич, – я согласна только потому, чтобы вы не воображали, будто я боюсь... А все это до тошноты противно, скучно и пошло. «Транспорт»... Зачем целый транспорт, когда всю вашу литературу можно пронести в жилетном кармане? «Эксплуатация», «классовая борь-

ба», «организация», «предательство буржуазии»... Господи, и неужели кто-нибудь читает это!

Много шелухи поднялось в воздух с ураганом, грозно загудело в нем – и бессильно упало наземь, когда ураган стих. Я думал, Катра не из этих. Но и она как большинство. Ее радостно и жутко ослепил яркий огонь, на минуту вырвавшийся из-под земли, и она поклонилась ему. Теперь огонь опять пошел темным подземным пламенем, – и она брезгливо смотрит, зевает и с вызовом рвет то, чем связала себя с жизнью.

А был миг. Я его не забуду. Сквозь мою вражду к ней, сквозь презрение к ее переметчивости этот странный миг светится в воспоминании, как вечерняя звезда в узком просвете меж туч.

Толпы дико побежали по Большой Московской. Все ворота и калитки были предательски заперты. Падали люди. Я вырвал Катру из топчущего, мчащегося человеческого потока; мы прижались к углублению запертой двери.

Бледный мальчик, прижимая руку к боку, набежал на нас.
– Ай-ай-ай-ай!.. Настоящие пули!

– Мальчик! Сюда иди, сюда!

Он непонимающими глазами оглядел меня и побежал дальше и повторял:

– Настоящие пули!

Наискосок через улицу, наклонившись, бежал под пулями

Иринарх и закрывал голову поднятым локтем, как будто над ним вился рой пчел. Из Ломовского переулка, как шакалы, выглядывали молодцы лабазника Судоплатова с дубинками.

Подбежал студент с простреленной рукой. Эсер – он не раз выступал против меня на митингах. Ухватившись за косяк, он безумно смотрел, как судоплатовцы с воем и свистом ринулись наперерез бежавшим, как замелькали в толпе их дубинки.

Сзади нас была железная дверь какого-то подвала. Висел замок. Я дернул, – он не был заперт. Быстро я отодвинул засов.

– Товарищи! Сюда!

Мы с Катрою проскользнули в дверь. Но студент стоял как околдованный и все смотрел.

– Да идите же, товарищ! Скорее, а то увидят!

Я втащил его в подвал, замкнул дверь. Крутые каменные ступеньки шли вниз. Громоздились до потолка пыльные бочки, деревянная скамейка пахла керосином. Странно-тихо золотились пылинки в узком луче солнца. На улице трещали револьверные выстрелы и молниями прорезывали воздух вопли избиваемых.

По рукаву студента текла кровь.

– Вы ранены. Садитесь, перевяжем.

Как в гипнозе, он сел. Катра засучила ему рукав, стала перевязывать носовым платком рану. В замершем порыве студент безумными глазами смотрел на дверь, и душа его была

не здесь.

Затопали ноги, со стоном грохнулся кто-то за дверью.

– За что бьете?.. Злодеи!.. ааа-аа!!.

Студент рванулся, роняя на пол окровавленный платок.

– Боже мой, а я здесь сижу!.. Пустите меня!

– Сидите, товарищ!

– Пустите! Господи, какие мы подлецы! Мы их звали, мы вместе с ними должны и погибнуть!

– Вы с ума сошли! Какой в этом смысл?

Он с презрением оттолкнул меня и бросился по крутым ступенькам к двери.

– Ведь вы без оружия! У вас помутилось в голове, очнитесь!

– Мы должны с ними умереть!

Я его удерживал, но душу с дрожью вдруг охватил стыд и горький восторг. Лязгал под руками студента отодвигаемый ржавый засов. Смерть медленно накладывала свою печать на его бледное лицо. И вдруг преобразилось это лицо и вспыхнуло живым, сияющим светом. Он выбежал на улицу.

Громкий вызывающий крик, полный восторга и муки:

– Да здравствует!..

И топот ног. Рев человеческих гиен. И глухие удары.

Я неподвижно стоял. Мир преобразился в безумии муки и ужаса. Весь он был здесь, где золотой луч тихо вонзался в грудь пыльных бочек, где пахла керосином жирная скамейка. Кругом – кровавое, ревущее кольцо, а дальше ничего нет.

Из полумрака на меня смотрели огромные глаза с бледного, прекрасного, восторженного лица. Охватывал душу безумный восторг от какой-то чудовищной, недоступной уму правды. Я взглянул на Катру.

Все было сказано без слов.

– Идем!

Огромные глаза ее все смотрели на меня. Грудь вздымалась, как будто не могла вместить того, что открылось душе.

– Да. Идем... Погодите. Прощайте, товарищ!

В первый раз она сказала это слово «товарищ».

Руки раскрылись, мы обнялись и крепко поцеловались. В запахе пыли, керосина и кровавого ужаса от свежего лица пахло весенним запахом духов.

Улица была уже пуста. Ее опять откуда-то обстреливали. Валялся у дверей аптекарского магазина пыльный труп в кроваво-черных обрывках студенческой тужурки.

Мы медленно шли вдоль улицы. Пули жужжали, с визгом рикошетировали от камней.

– Товарищи! О боже мой... Товарищи!..

Ерзая руками по мостовой, у тумбы лежал рабочий с простреленною ногой.

– Товарищи!.. Не бросайте меня!.. О боже мой!.. Жена у меня, четверо ребят...

Я схватил его под мышки, приволок к ближайшему крыльцу. От соборной площади бежали с дубинками пьяные молодцы из холодных лавок. Катра метнулась к двери. Она

была старая, на старом, непрочном замке.

– Смотрите! Можно выдавить!

Я ударил плечом, дверь распахнулась. Мы втащили раненого. В конце старенькой галерейки чернела обитая клеенкой дверь.

Раненый стонал. Перебитая нога моталась.

– Товарищ, тише! Сберегите все силы, молчите! Услышат черносотенцы или из квартиры выйдут. А бог весть, кто там живет.

– О-о-о... Погодите!.. ну... Ну, вот!

Он вцепился зубами в полу пальто и замер, дрожа и всхлипывая.

Но клеенчатая дверь уже раскрывалась. Выглянул седой, полный господин в тужурке отставного полковника.

– Это что такое?!

Он вышел и, бледнея, оглядывал нас.

– Сейчас же уходите! Что вам тут нужно?.. Уходите, уходите! Я не сочувствую революционерам!

Катра выпрямилась и смотрела на него темными, презирающими глазами.

– Здесь, полковник, не революционер, а раненый, вы сами видите. Пьяные дикари будут его сейчас добивать.

– Господа, господа... Это меня не касается... Сейчас же уходите, я не могу.

Полковник волновался и прислушивался к крикам на улице. Катра в упор смотрела на него.

– Храбрый вы человек!.. Мы не пойдем. Вытолкайте нас. Хороша она была в этот миг! Полковник сконфузился.

– Но согласитесь, господа... Ну, хорошо!.. Несите его скорее в квартиру!

Он суетливо запер наружную дверь на крюк. Мы потащили раненого в переднюю.

Грозно и властно зазвенел звонок. В дверь посыпались удары. Слышались крики. Полковник побледнел, оправил тужурку и пошел по галерее.

Дверь затрещала и распахнулась. Мы замерли.

Слышно было, как полковник кричал и топал ногами.

– Не видите, кто я?.. Чтоб я у себя кого прятать стал? Вон!.. По телефону губернатору... Всех вас в тюрьме перегною!

Задыхаясь и отдуваясь, полковник воротился к нам.

– Негодяи этакие!.. Понесем его в спальню, там перевежем. – Он с гордостью остановился перед Катрой и развел руками. – Ну-с! Надеюсь, вы меня теперь ни в чем не можете упрекнуть!

Катра удивленно взглянула на него.

– Но ведь вы были бы подлец, если бы поступили иначе!

Попал я к Маше на рождение только в десятом часу вечера. Алеша был там уже с обеда.

Маша радостно встретила меня, поцеловала долгим, умиленным поцелуем и благодарно прошептала:

– Спасибо, что пришел!

Большие кроткие глаза, и, как из прожекторов, из них льются снопы света. Алеша называет ее «Мадонна».

Сидела, приторно улыбаясь, их тетка Юлия Ипполитовна. Она обратилась ко мне:

– Костя, скажите вы: ну, разве идет Маше эта голубенькая кофточка?

– Очень идет.

Юлия Ипполитовна со снисходительной насмешкой пожала плечами.

– Не понимаю ее! Нарядилась, как шестнадцатилетняя девушка. Нужно же помнить свой возраст! Тридцать шесть лет исполнилось, седина в волосах – и светлые кофточки! Напоминает маскарад!

Маша добродушно улыбнулась и не ответила. Она угощала нас закусками, чаем, быстро говорила своими короткими, обрывающими себя фразами. Юлия Ипполитовна брезгливо шевелила вилкой кусочки нарезанной колбасы.

– Маша, где ты брала эту колбасу? Шпек ужасно скверно пахнет.

Алеша угрюмо и резко возразил:

– Никакого запаха нет.

– Ну, может быть, мне кажется... Почему ты не берешь у Рейнвальда? Только там колбасы хорошие.

Она концами пальцев отодвинула тарелку и обиженно стала пить чай. Как удушливое облако, ее присутствие висело

над всеми. Ждали, когда же она пойдет спать.

Пошла наконец. Маша зашептала:

– Господа, перейдемте в переднюю, поставим там столик. Ну, тесно будет, а зато так хорошо! И тете не будем мешать.

Мы перенесли в переднюю стол, самовар. Я с упреком спросил:

– Ты здесь и спишь?

Маша поморщилась и быстро заговорила:

– Ну, господа, все равно... Не будем об этом говорить... Это мое дело... Все равно...

– Маша, да ведь ты губишь себя. Сама нервная, болезненная, весь день на уроках, – и даже отдохнуть негде в своей же квартире! Смешно: две комнаты на двоих, а ты живешь в передней.

– Ну, все равно... Господа, не говорите... Тете мешает утром спать, когда я встаю, а мне все равно...

– Мешает спать!

– У нее все время то мигрени, то невралгии. Трудно заснуть, и необходима тишина... А мне приятно, что я хоть что-нибудь могу для нее сделать. Только жалко, что приходится от вас жить отдельно.

– Да, нам бы еще тут с этим сокровищем жить! Я понимаю, что все ближайшие родственники отрешиваются от нее... Какая бесцеремонность! «Шпек пахнет». Никто не просит, не ешь!

Маша умоляюще сказала:

– Оставим... Ну, пускай... Нужно либо все принять, либо совсем уж отказаться... – Она покраснела. – Своей семьи у меня нету. Вы выросли. А я чувствую такую потребность любить, всю себя отдать... Мне кажется, если бы тетя меня била, я бы еще нежнее ухаживала за нею.

– Черт знает что такое! Какой-то садизм филантропии!.. И для кого! Маша, ну разве ты не видишь кругом жизни? Ведь выше и нужнее всю себя отдать ей, а не какой-то Юлии Ипполитовне!

Мы уж не раз спорили об этом.

– Ну, оставим, все равно... Я к вам не могу пойти. Вы слишком наружу смотрите. Под этим, глубже, у вас ничего нету. Поэтому все строите на ненависти. А нужно всех любить. И потом у вас – без бога.

– Этого бы еще недоставало!

И сейчас же я в ней почувствовал тот странный, внутренний трепет, который часто в ней замечал. Когда мы, еще гимназистами, начинали спорить с ней о боге, Маша быстро говорила, с испуганно вслушивающимися во что-то глазами: не надо об этом говорить. Об этом нельзя спорить.

Она перевела разговор на другое.

Мы пили чай с миндальным печеньем, разговаривали и смеялись тихонько, чтоб не разбудить Юлию Ипполитовну. По отставшим от стен обоям тянулись зубчатые трещины. Задумчиво сидели, неожиданно явившись откуда-то, черные тараканы.

Понемножку со мною произошло обычное, – я не могу без скуки и колючего раздражения думать о Маше, а побудешь с нею – и вдруг мягче начинаешь принимать всю ее, с ее чуждою, но большою и серьезною душевною жизнью. Бедно одетая, убивает себя на уроках, чтоб Юлия Ипполитовна могла есть виноград и принимать лактобациллин. И какое-то светящееся оправдание жизни, с терпимым и любовным уважением ко всему.

Мы чуть слышно пели втроем песни, которые пели с Машею давно, еще мальчиками. Вспоминали, смеялись, говорили теми домашними словами, которых посторонний не поймет. Было по-детски чисто в душе и уютно.

Алеша всегда чувствует себя у Маши тепло и свободно. Но сегодня он был необычно весел, острил, смеялся. Как будто тайно радовался чему-то своему. А в Машиных глазах, когда она смотрела на Алешу, была горячая любовь и всегдашний скрытый, болезненный ужас, – какой-то раз навсегда замерший ужас ожидания. Вот уже два года она смотрит так на Алешу. Это для меня загадка.

Когда мы шли домой, я спросил Алешу:

– Отнес к Катре?

– Отнес, конечно.

– Что она, не фыркала?

– Н-нет... – Алеша помолчал. – Ужасная чудиха! Вдруг спрашивает меня: «Отчего вы, Алексей Васильевич, никогда не смотрите в глаза?» И засмеялась. Очень весело и добро-

душно. Звала чаю напитокся.

Он говорил небрежно, а весь сиял, вспоминая. Катра и его околдовала своею красотою. Бедный, как ему мало надо!

И несколько раз еще Алеша возвращался к своему визиту. Объяснял мне, почему он отказался напитокся чаю, рассказал, как она пожала ему руку.

На дворе, в белом сумраке ночи, у флигелька виднелась тонкая фигура. Мы взгляделись. В одном платье стояла иззябшая Прасковья. Она метнулась, хотела спрятаться, но как будто что вспомнила. Остановилась и недобрыми глазами смотрела на нас.

– Чего это вы на холоду стоите, Прасковья Вонифатьевна?

Она оборвала:

– Так.

Гольтяков пьет запоем. Ясно, – пьяный, он выгнал ее на мороз и запер дверь.

Мы стали звать ее зайти к нам напитокся чаю. Она сердито отказывалась, бросала пугливые взгляды на темные оконца флигеля. И вдруг быстро пошла к нашему крыльцу, все не говоря ни слова.

Поставили самовар. С полчаса он нагревался. Прасковья сидела на уголке стула, худенькая, тонкая, и настороженно молчала. Чувствовалось, – заговори с нею, она сейчас же вскочит и убежит.

Мы предложили ей переночевать в Алешиной комнате, а он перейдет ко мне.

– Нет. Я в кухне посижу.

Всю ночь она просидела на табуретке в нашей кухне. Иногда выходила, поглядывала на беспощадно-молчащие окна флигелька и возвращалась.

Мне плохо спалось. Завтра – большая массовка за Гастевской рощей, мне говорить. Нервно чувствовалась в кухне Прасковья с настороженными глазами. Тяжелые предчувствия шевелились, – сойдет ли завтра? Все усерднее слезка... Волею подавить мысли, не думать! Но смутные ожидания все бродили в душе. От каждого стука тело вздрагивало. Устал я, должно быть, и изнервничался! – такая тряпка.

Не могу рассказывать. Сжимаются кулаки...

А когда я возвращался, я столкнулся в калитке с Гольтяковым. Мутно-грозными глазами он оглядел меня, погрозил кулаком и побежал через улицу. На дворе была суетня. В снегу полусидела Прасковья в разорванном платье. Голова бессильно моталась, космы волос были перемешаны со снегом. Из разбитой каблуком переносицы капала кровь на отвисшие, худые мешки груди. Хозяйка и Феня ахали.

Я остановился и смотрел, бессмысленно и неподвижно. Было в душе только тупое отвращение и какая-то тошнота. Странно запомнились, вытесняя чудные глаза Прасковьи, эти жалкие мешки ее груди, в страдальческом безразличии открытые взорам.

Страшно усталый я лежал на кровати. В душу въедался

оскоминный привкус крови. Жизнь кругом шаталась, грубо-пьяная и наглая. Спадали покровы. Смерть стала простою и плоскою, отлетало от крови жуткое очарование. На муки человеческие кто-то пошлый смотрел и тупо смеялся. Непорочно поруганная жизнь человеческая, – в самом дорогом поруганная, – в таинстве ее страданий.

И вечно, вечно сжимайся, жди без конца, дави желание бешено броситься навстречу!

Пришел Мороз. Возбужденный, с вздувшеюся багровою полоскою поперек лица. Он пил чай, жадно жевал булку. И, смеясь, рассказывал:

– Вьется надо мною, все хочет достать нагайкою. А я в канавку втиснулся и лежу. Видит, не выходит его дело, – хочет лошадью затоптать. А живая тварь, лошадь-то, не желает ступать на живого. Стал он меня тогда с лошади шашкою тыкать, – проколол бок. Пальто вот все изрезал. Ну, да не жалко: старое.

– Что старое?

– Пальто.

– Пальто?.. Мороз, голубчик!

Я расхохотался, вскочил и стал целовать его милое скуластое лицо.

– И сильно он вам пальто попортил? Вот негодяй! Давайте посмотрим. Да кстати и бок.

Глубоко изнутри взмыл смех и светлыми струями побегал по телу. Что это? Что это? Все происшедшее было для

него не больше как лишь смешною дракою! Что в этих удивительных душах! Волны кошмарного ужаса перекатываются через них и оставляют за собою лишь бодрость и смех!

На боку оказалась царапина. Мороз сел зашивать просеченное пальто.

Пришли Наташа, Дядя-Белый, другие. Кой-кого не хватало. Пили чай. Рассказывали о пережитом. Что-то крепкое и молодо-бодрое выросло из ужаса. То черное, что было в моей душе, таяло, расплывалось, недоумевая и стыдясь за себя.

От хохота было тесно в комнате. Осетин Хетагуров рассказывал своим смешным восточным говором, как он из чащи вскочил на лошадь к стражнику, выбросил его из седла в снег и ускакал. Желтоватые белки ворочались, ноздри раздувались. Странно было на его гибкой, хищной фигуре горца видеть студенческую тужурку.

– Пачыму вы смээтэсь?

Он с недоумением оглядывал нас, и глаза при воспоминании загорались диким, зеленоватым огнем. Милый Али! Я помню, как в октябре он один с угла площади вел перестрелку с целою толпою погромщиков. И все какие милые, светлые! В одно сливались души. Начинала светиться жизнь.

Вышел из своей комнаты Алеша, сидел и почтительно слушал.

Я написал воззвание. Наташа и Мороз ушли печатать. Уходя, Мороз улыбнулся и крепко потрянул мою руку.

– А что, Сергеич! Скучно будет жить на свете, когда придет этот самый наш социализм!

Приехал доктор Розанов. Сразу все оживились. Почувствовалась властная, уверенная рука.

Его усиленно разыскивают, грозит ему недоброе. Но он приехал. Только бороду сбрил и покрасил волосы. Это смешно: огромная голова на широких плечах, глубоко сидящие зеленоватые глаза, давняя хромота от копыт казацкой лошади, – кто его у нас не узнает? Он две недели владел городом. Черносотенцы называли его «ихний царь».

Раньше он мне мало нравился. Чувствовался безмерно деспотичный человек, сектант, с головою утонувший в фракционных кляузах. Но в те дни он вырос вдруг в могучего трибуна. Душа толпы была в его руках, как буйный конь под лихим наездником. Поднимется на ящик, махнет карандашом, – и бушующее митинговое море замирает, и мертвая тишина. Брови сдвинуты, глаза горят, как угли, и гремит властная речь.

Я не мог решить, правильно ли он действует, я ничего не понимал в закрутившемся вихре. Но его стальная воля покорила меня, как и всех, я слепо шел за ним. Спокойно и властно он мог всех нас послать на смерть, – и мы бы пошли и верили бы, что так нужно.

И вот он теперь приехал.

– Иван Николаевич, это безумие!

– Скажите-ка лучше, что у вас там в комитете наерундили? Совсем меньшевистские повадки. Это все вас Наташа мутит.

С ночевками его вышла история. Решили поместить его у Катры и поручили мне попросить ее. Но что лезть к человеку, который отбивается и руками и ногами? Я решительно отказался. Тогда пошел к ней Перевозчиков. Навязчивостью и ложью он многого достигает, – тою фальшивою «пролетарскою моралью», которую культивируют как раз интеллигенты. В Ромодановске он сидел в тюрьме; после долгих хлопот удалось уговорить одного адвоката внести за него залог; Перевозчиков сейчас же скрылся: «У этих буржуев денег хватит!» В квартире, данной нам буржуем, он пачкает сапогами диваны из презрения к буржуу.

Катра приняла Перевозчикова высокомерно, высокомерно отказала, а в заключение прибавила:

– Пусть попросит Чердынцев, – тогда я подумаю.

С хохотом Перевозчиков рассказал это. Все хохотали, поздравляли меня с победою над сердцем декадентки. Ужасно было глупо, и я-то понимал, что тут вовсе не «победа».

Пересилил себя, пошел. Катра встретила меня очень любезно, в недоумении пожимала плечами, сказала, что тут какое-то недоразумение. А глазами нагло смеялась. И отказала решительно.

Ночует Розанов там и сям. Раза два даже у Маши ночевал, в передней.

Есть люди, есть странные условия, при которых судьба сводит с ними. Живой, осязаемый человек, с каким-нибудь самым реальным шрамом на лбу, – а впечатление, что это не человек, а призрак, какой-то миф. Таков Турман. Темною, зловещею тенью он мелькнул передо мною в первый раз, когда я его увидел. И с тех пор каждый раз, как он пройдет передо мною, я спрашиваю себя: кто это был, – живой человек или странное испарение жизни, сгустившееся в человеческую фигуру с наивно-реальным шрамом на лбу?

В первый раз я его увидел на митинге, в алом отблеске знамен, среди плеска и шума неудержимо нараставшей потребности в действии. Бледный полицеймейстер пытался говорить:

– Граждане! Чтоб избежать напрасного кровопролития...

– Долой! Не мы крови хотим, а вы!..

– ...чтоб напрасно не полилась человеческая кровь, я умоляю вас...

– Вон его!.. Долой!..

Полицеймейстер измученно махнул рукою и сошел с ящика. Кипели речи. Около полицеймейстера стояла Наташа. Мелькнула темная фигура, – это был Турман. Задыхаясь, он остановился перед полицеймейстером, потоптался. Странно наклонившись, шагнул в сторону. Опять воротился. Как будто сновала зловещая ночная птица. В одно время полицеймейстер и Наташа вдруг поняли, – понял вдруг и Турман, что они по-

няли. И стояли все трое, охваченные кровавою, смертною дрожью, и молча смотрели друг на друга. Наташа заслонила полицмейстера рукою и властно крикнула:

– Товарищ, уйдите!

Турман крепко сжатою рукою что-то держал в кармане пальто. Он топтался на месте, дрожал и впивался взглядом в глаза Наташи.

– Уйти?.. Наташа!

– Сейчас же уйдите! Слышите?

– Так уйти?.. Ната... Наташа?..

Я решительно обнял его за плечи.

– Пойдемте, товарищ! Вам тут нечего делать!

Все еще дрожа, он покорно, как в гипнозе, пошел со мною в толпу... Через минуту, все забыв, Турман жадно слушал несшиеся в толпу призывы.

Сегодня он опять темным призраком прошел перед душою, и опять я спрашиваю себя: живой это человек? Или сгустилась какая-то дикая, темная энергия в фигуру человека со шрамом на лбу?

Спокойно глядя на него, Розанов беспощадно говорил:

– В профессионалы вы не годитесь. Никакого дела мы вам дать не можем. Вы не умеете сдерживать себя, когда нужно. Вы весь отдаетесь порыву. Вы не ведете толпу, а сами несетесь с нею...

Турман дрожащими руками закуривал папиросу и никак не мог закурить.

– Как же это не может мне дело найтись? Я ни от чего не откажусь. Давайте, что знаете. Что ж мне, сложа руки сидеть? И это тоже: с голоду издыхать? Сами знаете, я теперь безработный. За общее дело пострадал, никуда не принимают.

– Жалко вас, но партия не богадельня.

– Да я у вас не милостыни и прошу, а дела... Гм! Ну, партия! Жалуются, людей нет, а людей гонят. Жалуются, денег нет, кругом все добывают деньги – на пьянство, на дебош... А они на дело не могут.

Розанов быстро поднял голову.

– Как это деньги добывают?

– Как! Сами знаете!

Они молча смотрели друг другу в глаза.

– Вы говорите про экспроприации. Запомните, Турман, хорошенько: партия запрещает их.

– Я вам под чужим флагом устрою. Наберу молодцов. Никто не узнает.

– Что такое? – Розанов встал. – Нам с вами разговаривать больше не о чем.

– Та-ак... – Турман взялся за шапку. Он задыхался. – Значит, окончательно за хвост и через забор? Благодарим!.. Речи болтать, звать на дело, а потом: «Стой! Погоди! Ты только, знай организуйся». Спасибо вам за ласку, господа хорошие!

Собрание происходило в народном театре. На эстраде восседал весь их комитет, – председатель земской управы Будиновский, помощник директора слесарско-томилинского бан-

ка Токарев и другие. Приезжий из столицы профессор должен был читать о правых партиях.

Ходили слухи, что на собрание явится со своими молодцами лабазник Судоплатов – местный «Минин» и кулачный боец. Лица смотрели взволнованно и тревожно.

В первом ряду сидела жена Будиновского, Марья Михайловна, рядом с Катрою. Марья Михайловна поманила меня.

– Скажите, вы слышали, что будут судоплатовцы?

– Слышал.

– Неужели ваши будут так бестактны, что выступят?

– Обязательно!

– Ну да! Вы хотите сорвать собрание... Господи, положительно я не понимаю. Сами бойкотируете выборы, – зачем же другим мешать? Ведь бог знает что может произойти. Катерина Аркадьевна, не пойти ли нам за кулисы? Муж мне советовал лучше там сесть, – если что выйдет, легче будет уйти.

– Конечно, пойдите, – оно безопаснее.

Катра вспыхнула, высокомерно оглядела меня и отвернулась. Марья Михайловна взволнованно двинулась на стуле.

– Боже мой! Смотрите, – верно!.. Он!

В публике произошло движение. От входа медленно шел между стульями лабазник Судоплатов в высоких, блестящих сапогах и светло-серой поддевке, как будто осыпанный мукой. Сухой, мускулистый, с длинною седою бородою. Из-под густых бровей маленькие глаза смотрели привычно грозно.

Говорят, у него дружина в сто человек, вооруженных ре-

вольверами. Он входит к губернатору без доклада. Достаточно ему кивнуть головою, чтоб полиция арестовала любого. Он открыто хвалится везде, что в дни свободы собственноручно ухлопал пять забастовщиков.

Прошел он и сел во втором ряду. И замер, прямо глядя перед собою. Как будто удав прополз и лег. Жуткий, гадливый трепет пронесся по рядам. Слухи становились грозящей действительностью.

Наши заняли правую сторону амфитеатра. Мороз шепнул мне на ухо:

– Ну, значит, быть бою!

Весело блестя прищуренными глазами, он вынул из кармана кастет и показал мне его из-под полы.

Вышел докладчик-профессор. Оглядел толпу близорукими глазами в очках и начал.

Говорил он мягко, красиво и задушевно. Правые партии объявляют себя опорой России: при каждом удобном случае твердят о своей готовности всем пожертвовать для царя и отечества. На днях еще это говорил в Дворянском собрании глава истинно русской партии, граф фон Ведер-Нох. Исследуем же их программу, посмотрим, чем они готовы жертвовать. Вот, например, аграрный вопрос. Беру программу, ищу и нахожу: первым делом рекомендуется переселение. Спору нет, это дело не бесполезно, хотя статистикою доказано, что свободных земель для заселения у нас весьма недостаточно. Но я спрошу: где же тут жертва?.. Рабочий вопрос. Рекомен-

дуются государственное страхование рабочих. Опять против этого ничего нельзя возразить. Но жертва-то, господа, жертва где же?..

Профессор улыбался близорукими глазами и разводил руками.

Ярко вскрыл он узкое своекорыстие разбираемой партии, широко и красиво набросал собственную программу и кончил напоминанием, что на нас смотрит история.

– В ваших руках, граждане, дальнейшая судьба России, и строго допросите вашу совесть раньше, чем пойти к избирательным урнам!..

Захлопали – громко и настойчиво, но не густо. Большинство загадочно молчало.

Председатель объявил перерыв.

Настроение становилось все тревожнее. Дамы со страхом косились на Судоплатова. Он сидел на подоконнике и сонно-равнодушными, загадочными глазами смотрел перед собою.

Я пошел на эстраду записаться. Будиновский растерянно взглянул на меня. Стал убеждать не выступать.

– Толпа самая ненадежная, – приказчики, мелкие лавочники, – мещане. А мы имеем достоверные сведения, что в публике до полусотни переодетых судоплатовцев. Вы ведь знаете специальное назначение этих молодцов – в нужные моменты изображать «возмущенный народ». Ваше выступление даст им возможность увлечь толпу на самые нежиз-

данные выходки.

– Ну, а все-таки, пожалуйста, запишите меня.

Я воротился на место. Дыхание слегка стеснялось, сердце вздрагивало от ожидания. Море голов двигалось вниз. Огромная душа, чуждая и темная. Кто она? Враг? Друг?.. Кругом были свои, с взволнованными, решительными лицами. О, милые!

Зазвенел председательский звонок. Начали рассаживаться. Часть наших стала около эстрады, чтобы в случае чего быть поближе.

Будиновский поднялся из-за стола, взволнованно поглядел в мою сторону.

– Слово принадлежит господину Чердынцеву. Господин Чердынцев, пожалуйста на эстраду!

Алеша любящим беспокойным взглядом следил за мною.

Головы, головы перед глазами. Внимательные, чуждо-настороженные лица. Поднялась из глубины души горячая волна. Я был в себе не я, а как будто кто-то другой пришел в меня – спокойный и хладнокровный, с твердым, далеко звучащим голосом.

– Господа! Столичный профессор очень жестоко нападал здесь на правые партии. Позвольте заявить прямо и откровенно: я принадлежу к самой правой партии. Я – черносотенец. Тем не менее я от души приветствую доклад господина профессора, приветствую те основные мысли, на которых он строит свою критику. Для разных социал-демократов

и забастовщиков программы их партии определяются тем, чего они требуют. Вооруженный наукою профессор доказал нам: достоинство серьезной политической партии определяется не тем, чего она требует, а тем, чем она жертвует. Чем жертвуем мы, кого вы называете черносотенцами, – это я после скажу. А раньше спрошу вас, господин профессор, – чем же жертвуете вы и ваша партия?

Разобрав их программу, определив состав партии, я стал доказывать, что всевозможные свободы и конституции им выгодны, сокращение рабочего дня безразлично, наделение крестьян землею «по справедливой оценке» диктуется очень разумным и выгодным инстинктом классового самосохранения.

– Чем же, господа, вы-то жертвуете? Всякие революционеры, – они по крайней мере жизнью своею жертвовали, а вы тогда сидели в ваших норках и болтали на разных съездах. Но вы спрашиваете: чем жертвуем мы? Извольте, я скажу. Вы все говорили о графах и богачах, – верно, – им жертвовать нечем. Но вот тут мы сидим, бедняки и не графы. Мужики, рабочие, ремесленники, приказчики. Да мы всем жертвуем для порядка отечества! Мы жен и детей готовы заложить, как великий наш патриот Минин!.. (Я с пафосом повысил голос.) И заложим, и всем пожертвуем... Жизнь отдадим за могущество и славу матушки России!..

Раздались хлопки, крики «ура!». Судоплатов, подняв бороду, все время пристально смотрел на меня, но тут тоже за-

хлопал. Тогда в разных концах захлопали еще настойчивее. Совы, шныряющие только в темноте, приветствовали сову, смело вылетевшую на солнце.

– Чем мы жертвуем! И вы можете это спрашивать! Да что же вы думаете, мужик нашей партии слеп, что ли? Не видит он, что рядом с его куриным клочком тянутся тысячи десятин графских и монастырских земель? Ведь куда приятнее поделить меж собой эти земли, чем ехать на край света и ковырять мерзлую глину, где посеешь рожь, а родится клюква. А мужик нашей партии говорит: ну что ж! И поедем! Или тут будем землю грызть. Зато смиренно сидим, начальство радуем, порядка не нарушаем... Разве же это не жертва?!

Пронесся недоумевающий ропот. Раздались смешки. Судоплатов еще выше поднял бороду и пристальными, загоравшимися глазами смотрел на меня.

– Про неприкосновенность личности вы говорили... На мне вот, господин профессор, потрепанная блуза, а на вас тонкий сюртук. Если я попаду в каталажку, мне там пропишут такую неприкосновенность, какой вам никогда не видать. Всякий околоточный или урядник надо мною все равно что царь. А поверьте, господин профессор, я тоже человек, я тоже хотел бы, чтобы меня никто не смел хватать за шиворот. Но я говорю: это нужно для высшего порядка. Не моего ума дело соваться в политику. Господину полицмейстеру лучше видно... Да неужели же и это не жертва?

Меня прервал взрыв рукоплесканий и хохот. Судоплатов

вскочил и опять сел. Перекатывался хохот, кричали «браво», повсюду трепыхали хлопающие руки, даже на эстраде и в первых рядах.

Я восхвалял рабочих, для порядка голодающих и работающих без конца. Среди хохота и плеска Судоплатов встал и медленно, ни на кого не глядя, пошел вон.

Потом говорил Мороз, Перевозчиков. Опять я говорил, уже без маскарада. Меня встретила буря оваций. И говорил я, как никогда. Гордые за меня лица наших. Жадно хватающее внимание серых слушателей. Как морской прилив, сочувствие сотен душ поднимало душу, качало ее на волнах вдохновения и радости. С изумлением слушал я сам себя, как бурно и ярко лилась моя речь, как уверенно и властно.

Говорили, конечно, и с эстрады, – профессор, Будиновский, Токарев. Но было у них, как обычно теперь: им нанесли удары слева, они стыдливо чуть-чуть защищались, а свои удары направляли вправо, в пустоту.

Трогательно было, когда собрание кончилось. Тесною, заботливою толпою меня окружили товарищи рабочие, и я вышел в густом кольце защитников.

Стояла в проходе Катра и скучаяще слушала госпожу Будиновскую. Мельком Катра взглянула на меня, и в ее взгляде мелькнула на миг сиротливая зависть и горячая нежность. А может быть, это мне показалось.

– Слышал, слышал, как вы отличились! Везде только о вас

и говорят! – Доктор Розанов смеялся зеленоватыми глазами и с горделивою нежностью смотрел на меня. – Вот что: знаете вы некоего человека, которого зовут Иринарх?

Я пренебрежительно ответил:

– Знаю.

Рассказал о его разговоре с Турманом и Дядей-Белым. Я ждал, что глаза Розанова вспыхнут презрением. Но он выслушал внимательно и очень спокойно, с тем взглядом глаз, который я знаю у него, – выше людей смотрящим, где каждый человек – лишь материал.

– Он может нам пригодиться.

– Сомневаюсь. Это одиночка до мозга костей и гастроном жизни.

– Мы ему сколько угодно поднесем пикантных блюд.

Мне хотелось знать, как относится Розанов к его разговору с Турманом.

Розанов уклончиво ответил!

– В сущности, он во многом прав. Только ошибка его, что он мыслит не диалектически. В процессе своей жизнь выработала из человека тип, для которого борьба стала фетишем. Но нельзя же, например, агитатору говорить такие вещи перед толпой!.. Нашел кого просвещать, – Турмана! Этакый болван!

Вчера вечером Алексей нажарил печку, в низкой комнате было жарко и душно, я долго не мог заснуть. Встал поздно, в

двенадцатом часу. Наставил в кухне самовар и стал чистить свои ботинки.

В наружную дверь постучались.

– Кто там?

Ответил голос Катры. Что это значит? Я надел ботинки и пиджак, отпер дверь.

Она вошла, румяная от холода, немного смущаясь.

– Здравствуйте! Пришла к вам в гости, – сказала она недомашним, застенчиво тихим голосом и улыбнулась.

Улыбкою, как медленную зарницею, осветилось ее лицо, и осветилось все кругом.

– Чудесно! Сейчас поспеет самовар, будем чай пить.

По-обычному я враждебно насторожился, стараясь не поддаться ее красоте и свету ее улыбки.

Катра, наклонившись, снимала с ноги серый меховой ботинок, с любопытством оглядывала убогую, обмазанную глиною кухню.

– Как к вам трудно пройти! Сугробы горами и узенькие-узенькие тропинки... Что это вон на полу лежит, письмо? Кажется, нераспечатанное.

Около моей двери лежал большой серый конверт. Я поднял его.

– Должно быть, в щель вашей двери был засунут, вы открыли дверь, он выпал.

На конверте рукою Алексея было четко написано: «Его Высокоблагородию Константину Сергеевичу Чердынцеву.

Весьма нужное». В конверте оказался другой конверт, поменьше, белый, и на нем стояло:

«Костя! Пожалуйста, ради всего тебе дорогого, прежде чем предпринимать что-нибудь, прочти все мое письмо возможно спокойнее, дабы не сделать ложного шага».

Я дрожащими руками разорвал конверт. Было написано много, на двух вырванных из тетради четвертушках линованной бумаги. Перед испуганными глазами замелькали отрывки фраз: «Когда ты прочтешь это письмо, меня уж не будет в живых... Открой дверь при Фене... Скажи ей, что я самоубийца... согласится дать показание. Вчера воротился сильно пьяный и, должно быть, закрыл трубу, когда еще был угар».

Из смутного тумана быстро выплыло вдруг побледневшее лицо Катры. Как в зеркале, в нем отразился охвативший меня ужас. Я бросился мимо нее к двери Алексея.

Дверь была заперта изнутри, – крепкая, в крепких косяках. Я бешено дернул за ручку. Что-то затрещало и подалось, я дернул еще раз, радостно и удивленно чувствуя, что силы хватит. Правый косяк подался, дверь с вывернувшимся замком распахнулась, и штукатурка в облаках белой пыли посыпалась сверху. Охватило душным, горячим чадом.

С кровати, придвинутой изголовьем к открытой печке, полусидя и странно скорчившись, Алексей неподвижно смотрел в просвет взломанной двери.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.